



## Г. И. ЧУЛКОВ

### Достоевский и революция

Двадцатипятилетие со дня смерти Достоевского совпало с днями последнего суда над тем порядком, который казался великому писателю чем-то священным и незыблемым.

Роковые заблуждения Достоевского раскрылись до самых глубин своих. И приобрели какую-то особенную, необычайную значительность именно теперь, при кровавом зареве революционного пожара.

Заблуждения гениальных людей порой наводят человечество на такие проблемы и заставляют задуматься над такими вопросами, которые — быть может — остались бы незамеченными, если бы не эта тревога, если бы не эти торопливые и несправедливые утверждения, переходящие незаметно в истерику, в странную, черную реакционность: эта мрачная реакционность Достоевского является как бы магическим зеркалом, которое отражает в себе весь старый порядок и раскрывает перед нами отвратительные черты разлагающегося строя. Однако у Достоевского было и другое лицо.

Есть такие неудачные «реакционеры», которые, несмотря на самые черные слова свои и писания, в конечном счете оказываются бунтовщиками, с которыми не может примириться никакое благополучное правительство и «приличное» общество. Такие ненавистники демократии, как Ницше, или такие приверженцы самодержавия, как Достоевский, оказываются слишком громоздкими, крупными, гениальными, чтобы вписаться в формы какого бы то ни было «порядка и законности». Очевидно, поэзия и пророчество несовместимы с казенщиной: сегодня Тютчев напишет сладкогласное придворное стихотворение, а завтра весь мир пошатнется от его тревожного напева, и почувствуешь, что «все неблагополучно», что страшны ночные песни. Тогда плачет смущенный человек: «О, страшных песен сих не пой... Под ними хаос шевелится»!..

Вечные темы, которые волновали Достоевского, это все обратная сторона тех же проклятых «социальных» вопросов. Иван Карамазов утверждает, что «русские мальчики» всегда, с болезненной настойчивостью, скользят около этих роковых тем. Они вечно говорят о мировых вопросах, не иначе: «есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну, те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, — так ведь это один же чёрт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца».

Достоевский и революция — вот тема, которой непрестанно касались критики и которую никогда не могли исчерпать до конца. Эта тема так значительна, что — вероятно — еще много раз мировая литература будет скользить около нее, быть может, не произнося даже имени Достоевского, но всецело питаясь его идеями и волнуясь его «подпольными», его «каторжными» переживаниями.

Многие писали о Достоевском — Белинский, Добролюбов, Михайловский — и, с другой стороны, — Волынский, Розанов, Вл. Соловьев, Лев Шестов, но, кажется, никто не подошел так близко к центральным пунктам мирозерцания Достоевского, как Мережковский.

Однако каким-то несчастным образом последнему слову Мережковского о Достоевском не суждено было попасть в эту огромную, толстую книгу его «Жизнь и творчество Л. Толстого и Ф. Достоевского». Воистину, это опоздание Мережковского должно быть источником его жизненной печали. В самом деле, когда выходило в свет первое издание книги Мережковского о Достоевском, этот «непонятый» литератор признавал *положительное мистическое начало в принципе самодержавия*, от которого ныне он — по счастью — отказывается.

Само собой разумеется, что это роковое и столь важное заблуждение Мережковского должно было отразиться на всей огромной монографии, и остается только пожелать, чтобы этот писатель потрудился над новой столь же обширной монографией о Достоевском, осветив теперь его отношение к общественности с иной *мистическо-анархической* точки зрения.

\* \* \*

Идейная жизнь Достоевского была как бы одним долгим и напряженным спором с революцией. Достоевский, арестованный по делу петрашевцев в 1849 году и приговоренный к смертной казни — после смягчения приговора — отправленный на каторгу, приобрел самой жизнью своею исключительное право судить революцию или, вернее, вызвать ее на последний поединок. Душа Достоевского,

исполненная тревоги и предчувствий, искала непрерывных касаний к тревоге общественной. Естественно, что Достоевский не мог пройти равнодушно мимо идейного движения, которое увлекло русскую интеллигентную молодежь в конце сороковых годов. Фурье был властителем целого поколения. Изучали его самого и всех его последователей и интерпретаторов; все торопливо читали журнал «Phalange»; читали Луи Блана, Прудона, Ламенне<sup>1</sup> и других социалистов-утопистов; спешили устроить кружки для изучения социальных систем...

В одном из таких кружков Достоевский познакомился с Петрашевским...

Но еще ранее Достоевскому пришлось встретиться с человеком, который заставил его тревожно пересмотреть все мирозерцание, все его верования и упования. Это был Белинский.

О своих отношениях к Белинскому Достоевский писал в дневнике 1873 года: «В первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился, с самою простодушною торопливостью, обращать меня в свою веру... Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. В этом много для меня знаменательного именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей. Интернационалка в одном из своих воззваний... начала прямо с знаменательного заявления: “мы прежде всего общество атеистическое”, т.е. начала с самой сути дела; тем же начал и Белинский... Как социалисту, ему следовало прежде всего низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начать с атеизма».

В чрезвычайно любопытном письме к Страхову Достоевский писал из Дрездена 18-го мая 1871 года: «Взгляните на Париж, на комму... Если бы Белинский. Грановский и вся эта... поглядели теперь, то сказали бы: “Нет, мы не о том мечтали”... Они до того были тупы, что и теперь бы, уже после события, не согласились бы и продолжали мечтать. Я обругал Белинского более как явление русской жизни, нежели лицо. Это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни». — «Этот человек ругал мне Христа»...

Необыкновенная запальчивость, странная грубость Достоевского в этом отзыве о Белинском легко объясняется болезненной остротой *последнего* вопроса — ответа, на котором столкнулись эти две мятежные души.

В мечте Белинского о счастливом социалистическом устройении будущего человечества — несомненно — тайно заключался *моральный мотив*, идея справедливости, непродуманная до конца. В борьбе с формальным мещанством (в смысле класса эксплуатирующего) Белинский впадал — с точки зрения Достоевского — в мещанство

иного порядка, в мещанство индивидуума, примирившегося с благополучным, но ограниченным существованием.

Известен случай, когда Белинский пришел смотреть постройку Николаевского вокзала и *плакал от умиления*. Такому болезненно-чуткому человеку, как Достоевский, легко было заподозрить, что *эти слезы умиления* не слишком мудры, ибо взбунтовавшуюся личность никакие вокзалы и даже никакие фаланстеры не успокоят: бунтовщики такого типа, как Достоевский, потребуют большего, потребуют чуда и бессмертия и будут неудержимо и горько смеяться над жалкими попытками *утешить* человечество.

Но если Достоевский имел право упрекать Белинского в том, что он не пошел дальше социализма, то Белинский имел еще большее право упрекать Достоевского за то, что он торопливо и брезгливо перескочил через социализм.

В самом деле, кажется, единственный способ победить фурьеризм как психологическое устремление это принять формальные требования социализма как практическую жизненную программу для внешнего экономического плана.

Достоевский никогда бы не впал в такую раздражительную запальчивость, если бы ему пришлось столкнуться с современным социализмом, а не с утопическим социализмом Фурье.

Напрасно некоторые идеалисты стараются навязать современному социализму безусловный и религиозно-догматический характер и противопоставить ему христианство как единственное противоядие.

Уже одно то обстоятельство, что современный социализм не имеет единой и цельной философии и мечтает обосноваться то на материализме, то на эмпириокритицизме, то на неокантианстве — показывает, что дело тут не в «приятии или неприятии мира», а в психологической и исторической необходимости: социализм — по счастью — перестал быть мечтой: он сделался практикой и борьбой, жизнью и необходимостью. И с тех пор как социализм потерял свой утопический характер невозможно убежать от него, обнаруживая тем самым свою рабскую и мещанскую природу, скрыть которую не в состоянии никакие догматы и никакие доктрины.

Но Достоевскому пришлось бороться с мечтой о благополучном и пошло-счастливым устроении человечества. Социализм Белинского и фурьеризм петрашевцев уничтожали в корне дорогую для Достоевского идею страдающего Бога. С этим оскорблением его мечты о Богочеловеке Достоевский не хотел и не мог примириться. И кощунственный крик Белинского естественно должен был вызвать злую отповедь Достоевского: «Он (Белинский) был доволен собой в высшей степени, и это была уже личная, смрадная, позорная тупость».

Но в то же время что-то неудержимо влечет Достоевского к социалистам, и он сближается с кружком Петрашевского, Дурова, знакомится с Д. Ахшарумовым, Спешневым<sup>2</sup> и другими фурьеристами.

Пятнадцатого апреля 1849 года Достоевский читает в кружке молодежи письмо Белинского к Гоголю, которое вызывает «множество восторженных одобрений», причем положено «распустить это письмо в нескольких экземплярах». А незадолго перед этим в том же кружке Толь произносит речь «о религии, доказывая, что будто она не только не нужна, но даже вредна, потому что убивает нравственность и подавляет развитие ума».

Спешнев читал однажды у Петрашевского трактат об атеизме. Ханыков в речи на обеде в память Фурье, между прочим, сказал: «Преображение близко! но не в вере... а в науке чистой будем приобретать мы бодрость наших страстей на терпение, на дело!»

Но наряду с таким атеистическим настроением в кружке Петрашевского были и другие определенно-религиозные настроения. По выражению самого Достоевского, Дуров — например — был «до смешного религиозен».

Легко себе представить, как эти противоречия влияли на чувства и настроения Достоевского.

Среди наивных юношей, исполненных жаждой справедливости, Достоевскому чудился какой-то темный демон, раскрывалась идея человекобожества. Несомненно, что Достоевский не без основания усматривал в некоторых из своих друзей известную психологическую глубину, переходящую в какое-то темное и горделивое утверждение человека как самоцели.

Петрашевский — например — был по натуре своей воинствующим атеистом. Некоторые фразы его, записанные на допросе, поражают своей глубиной и силой, воистину демонической. Петрашевский имел право сказать следственной комиссии: «Что вам угодно, господа следователи, то и делайте, а перед вами стоит человек, который в колыбели чувствовал свою силу и, как Атлант, думал нести землю на плечах своих». И далее: «Развеется ли прах мой на четыре конца света, вылетит ли из груди моей слабый вздох конца тишины подземного заточения, его услышит тот, кому услышать следует, упадет капля крови моей на землю, вырастет зорюшка, мальчик сделает дудочку, дудочка заиграет, придет девушка и повторится та же история».

Таковы были отношения Достоевского к социализму и революции в 1849 году.

Впоследствии — после каторги — Достоевскому не раз приходилось встречаться с революцией, но уже исключительно в литературе, как публицисту.



И каждый раз эти встречи оканчивались печально для Достоевского: или его не понимали, или он — раздраженный и оскорбленный — произносил несправедливые и скучные слова, повторяя казенно-славянофильские формулы.

Приблизительно в то время, когда шел процесс петрашевцев, анархист Бакунин (принципиальный враг религиозного анархиста Достоевского) был арестован за границей и сидел в крепости Konigstein (с августа 1849 по май 1850 г.). Бакунина так же, как Достоевского, приговорили к смертной казни, но затем заменили казнь «вечной тюрьмой».

Это совпадение сроков и обстоятельств кажется мне знаменательным: судьба Бакунина и Достоевского заключает в себе что-то общее и в то же время раскрывает пути человеческие, прямо противоположные, быть может, скрещивающиеся на миг.

Бакунин от мистицизма ушел к формальному анархизму, а Достоевский от формального бунта против дурной действительности пришел к мистицизму. Ни тот, ни другой не сумели найти путей для воссоединения вечных начал свободы и любви.

А то, что Бакунин был действительно мистиком, засвидетельствовано хотя бы его письмом к Анненкову<sup>3</sup> из Брюсселя: «Может ли быть капля жизни без мистицизма? — писал он (в декабре 1847 г.). — Жизнь только там, где есть строгий, безграничный и потому и несколько неопределенный мистический горизонт; право, мы все почти ничего не знаем, живем в живой сфере, окруженные чудесами, силами жизни, и каждый шаг может их вызвать наружу без нашего ведома и часто даже независимо от нашей воли».

Как известно, впоследствии Бакунин не только отказался от мистицизма, но и сделался воинствующим атеистом. В своих сочинениях он едва ли не через каждые две страницы воссылает проклятия небу\*.

Тоска по воле, напряженные, мятежные мечтания о каком-то последнем разрушении для нового созидания, для жизни в ином плане — равно характеризуют как Бакунина, так и Достоевского.

---

\* Вот, например, характерные строки из статьи Бакунина "Federalisme, socialisme et antitheologisme": "N'en deplaise donc a tous les demiphilosophes, a tous los soi-desant pensours religieux: l'existence de Dieu implique l'abdication de la raison et de la justice humains, elle est la negation de l'humaine liberte et aboutit necesserement a un esclavage non seulement theorique, mais pratique". М. Вакунине. "Oeuvres". 63 p. [*«Федерализм, социализм и антитеологизм»*: «Не в обиду будет сказано всем полуфилософам, всем так называемым религиозным мыслителям: существование Бога заключает в себе отречение от разума и человеческой справедливости, оно отвергает человеческую свободу и неизбежно ведет к рабству не только теоретическому, но и практическому». М. Бакунин. Сочинения. С. 63.]

Различие выводов, к которым приходят эти жадно ищущие души, обусловливается различием ими избранных путей.

Мечты «о новом небе и новой земле», затемненные впоследствии практическими материально-политическими задачами, первоначально были ярко выражены у Бакунина. В одной из своих ранних статей Бакунин писал: «Демократизм далеко еще не состоит из своего аффирмативного богатства, но он черпает свою жизненность в отрицании позитивного, и вот почему он должен погибнуть вместе с позитивным, для того, чтобы после воспрянуть из своего свободного основания в совсем возрожденном виде и как живая полнота своего собственного я. И это превращение демократической партии в самой себе не будет одним только количественным изменением, т.е. не только расширением ее теперь особенного, а вследствие этого, дурного существования — сохрани Боже! — ведь подобного рода расширение было бы просто *опошлением целого мира* и конечным результатом всей истории, было бы просто-напросто абсолютное ничтожество; о, нет, это превращение демократической партии будет качественным изменением, новым живым и оживляющим откровением, *новым небом и новой землей*, новым и восхитительным миром, в котором все современные диссонансы сольются в одно гармоническое целое».

Достоевский, наоборот, начал с «бедных людей», с их маленьких земных страданий, человеческих, «слишком человеческих» и пришел к великой, неутолимой жажде «нового неба и новой земли». Однажды в кружке Петрашевского кто-то спросил Достоевского: «Ну а если бы освободить крестьян оказалось невозможным иначе как через восстание?» — Достоевский воскликнул: «*Так хотя бы через восстание!*» — Но прошли года, и Достоевский — в ужасе перед «бесами» революции — неуверенно выкрикивает в «Дневнике писателя» ненужные слова о «православии, самодержавии и народности».

Однако, несмотря на реакционные утверждения в «Дневнике писателя», в Достоевском жил анархический дух. В «поэме о Великом инквизиторе» раскрывается наиболее полнозаветная мистическо-анархическая идея Достоевского «о неприятии мира», которая ныне снова волнует наших искателей. (См. статью Вяч. Иванова «Кризис индивидуализма» в «Вопросах жизни».)

Если Бакунин не принимал Бога, пользуясь формулой «*Dieu est done l'homme est esclave*»<sup>4</sup>, то Достоевский не принимал «Божьего мира».

«Итак, принимаю Бога и не только с охотой, но, мало того, принимаю и премудрость Его...» — говорит Иван Карамазов. «Я не Бога не принимаю, — поясняет он далее, — я мира Им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять». И еще да-

лее: «Не Бога я не принимаю, а только билет Ему почтительнейше возвращаю».

«*Это бунт*», — тихо и потупившись отвечает Алеша на мятежные речи брата.

Не возражая прямо на это обвинение в анархизме, Иван Карамазов дает косвенный ответ: «Можно ли жить бунтом, а я хочу жить. Скажи мне сам прямо, я зову тебя — отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданище, вот того самого ребеночка, бывшего себя кулаченком в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!»

Казалось бы, что такой «бунт» в плане религиозном должен неминуемо повлечь за собой бунт в плане мира эмпирического, в плане социальном; казалось бы, что отрицание власти мистической предполагает отрицание всякой власти вообще, всякой государственности, но Достоевский не успел раскрыть для себя этой необходимой связи.

А Бакунин, яркий представитель русского революционного бунтарства, враг всякой власти, всякой государственности, почему-то перестает быть последовательным, когда перед ним жизнь ставит последнюю проблему «*о власти над человеком эмпирического мира*».

Эта проблема Бакунина смущает, и он не решается «не принять мира».

А между тем в кругу именно этих идей нужно искать разрешения роковой проблемы о последнем освобождении. Правда, сам Достоевский, гениальный Достоевский, не сумел выйти на истинный путь последнего утверждения личности, сам он постыдно склонил голову перед лицом эмпирической государственности, перед мертвым ликом Православной церкви, но тем не менее именно он раскрыл мистическо-анархическую идею «неприятя мира».

На современность возлагается ответственная задача исправить ошибку Достоевского и, исходя из той же идеи «неприятя эмпирического мира», показать, что за личиной множественного и страдающего мира скрывается начало непреходящей гармонии.

Необходимо также показать, что идея «неприятя мира» в нашем освещении приобретает совершенно иное значение, чем в психологии буддиста или даже аскета-христианина.

